



Несколько слов о попытках переводить Гомера на простонародный русский язык

М.Н. Катков

Самозабвенный публицист
и забытый переводчик

В истории русской общественной мысли XIX в. личность и деятельность Михаила Никифоровича Каткова (1818–1887) занимают заметное место, но получили крайне противоречивые оценки.

«Защитник казённого патриотизма», «вождь национально-охранительного лагеря» – называли его в либеральных кругах, «защитник величия России» – возражали им. Впрочем, у сторонников обеих точек зрения имелись немалые основания для таких оценок.

Жизнь Каткова – это *путь исканий*, то есть длительный период развития личности и при этом – творческого освоения богатств русской и европейской культур, принятия одних «плодов культуры» и отвержения иных. В этом отношении духовный путь Каткова характерен для тогдашнего состояния формировавшейся русской национальной культуры.

Таланты и интересы Каткова проявились рано. Ещё на студенческой скамье он связал свою жизнь с периодическими изданиями, в которых поначалу участвовал как переводчик. С 1838 г. он начинает публиковать свои работы в журналах «Сын Отечества», в созданном В.Г. Белинским «Московском Наблюдателе», в «Отечественных Записках». Первые произведения молодого автора отличались высокой отделанностью слога, и этот чистый и ясный слог остался у него навсегда (хотя оратором он был неважным, не любил говорить публично).

Все собственные статьи Каткова того времени относятся к области отвлечённой философии и литературной критики, общественно-политическая проблематика ему как будто чужда.

Пребывание на Западе в 1840–1843 гг. сыграло важную роль в жизни Каткова. Он посетил Германию, Францию и Бельгию, проведя большую часть времени в Берлине, где слушал лекции в университете, преимущественно занимаясь у Шеллинга. Молодой москвич, сделавшись горячим поклонником «философии откровения», близко сошёлся со знаменитым философом, часто бывал у него дома.

За эти годы связи Каткова с Белинским и его кружком заметно ослабели. Вернувшись в Петербург, он оказался одиноким, сторонясь крайностей западничества и славянофильства. Катков искал места на государственной службе, не оставляя мысли о занятии наукой. Но чиновником Катков не стал. В 1845 г., будучи адъюнктом Московского университета, он защитил диссертацию на степень магистра «Об элементарных формах славяно-русского языка». В течение пяти лет он преподавал логику и психологию.

В начале 1851 г. неожиданно освободилась вакансия редактора «Московских Ведомостей». В марте это место было предоставлено Каткову с назначением чиновником особых поручений VI класса при министре народного просвещения. С приходом нового редактора старейшая, но скучнейшая газета значительно оживилась. В газете

Наследие

стали публиковаться отчёты о публичных лекциях и диспутах. Появился литературный раздел, печатались статьи московских профессоров. Казённое официальное издание переменялось, признанием чего стало увеличение числа подписчиков вдвое, с 7 до 15 тысяч, несмотря на трехкратное повышение подписной цены.

С началом царствования Александра II в России начался новый период истории. Появляются понятия «оттепель» и «гласность», заговорили о реформах, об отмене крепостного права. Катков не может остаться в стороне от выражения новых интересов русского общества. В 1856 г. он оставляет газету и начинает издавать новый журнал «Русский Вестник». Журнал сразу становится заметным явлением в русской культуре, благодаря участию выдающихся писателей, учёных, общественных и государственных деятелей: Л.Н. Толстого, Д.В. Григоровича, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова, А.Ф. Писемского, П.И. Мельникова-Печерского, К.Н. Бестужева-Рюмина, О.М. Бодянского, Ф.И. Буслаева, А.Д. Галахова, И.Е. Забелина, К.Д. Кавелина, С.М. Соловьёва, Б.Н. Чичерина, П.В. Анненкова, Д.А. Милютина, А.Н. Пыпина, Н.Я. Данилевского и ещё многих других. В журнале сосредоточились лучшие силы русской дворянской интеллигенции, при том, что взгляды редакции отличались широтой: Катков приглашал к сотрудничеству и корифеев славянофильства и лидеров западничества (правда, зачастую сотрудничество было недолгим из-за взрывного темперамента редактора). Журнал сразу пошёл успешно, в марте 1856 г. было набрано три тысячи подписчиков, и подписка была закрыта за неимением свободных экземпляров.

С 1858 г. Катков самостоятельно готовит в журнале раздел «Политическое обозрение». Он не имел поначалу стройной системы взглядов на развитие России, принципиально отказывался примкнуть к какому-либо течению общественной мысли, но горячо отзывался на важные проблемы общественной жизни. Страна и общество оказались в ту пору на пороге кардинального обновления существующего строя. Где искать образцы для подражания? Как проводить реформы? Как сочетать кардинальные преобразования и верность основам русской жизни? Ответы на эти вопросы искало русское общество.

В основе его мировоззрения лежали твёрдые принципы: искренняя религиозность, горячий патриотизм и беззаветная преданность престолу. Цель своей деятельности Катков видел в содействии постоянному развитию внутренних сил России и укреплению её положения в мире. Главная его сила заключалась не в созидании, а в критике: он чутко улавливал болезненные явления в русской жизни, открывал их причины и, нашедши корень зла, обличал и громил его. Страстный и легко увлекающийся, в запальчивости он часто заходил слишком далеко в своих нападениях, не стеснялся в выборе выражений, но всегда оставался искренним.

Цензура не раз карала Каткова за резкий тон его статей в полемике с заграничной печатью: за 1863 г. ему пришлось заплатить штрафов на 950 рублей. В марте 1866 г. он получил первое предостережение о возможном закрытии газеты. Парадоксальным образом главный печатный выразитель интересов патриотизма и самодержавия считался «неблагонадёжным». Среди могущественных недругов Каткова были брат царя, великий князь Константин Николаевич, управляющий III Отделением граф П.А. Шувалов, министр внутренних дел П.А. Валуев. Однако 4 апреля 1866 г. выстрел Каракозова в Царя-Освободителя заставил всех вспомнить, что именно редактор «Московских Ведомостей» первым выступил обличителем опасности нигилизма. Несмотря на это, от министра внутренних дел П.А. Валуева Катков получил в мае ещё два предупреждения. Но Москву в эти дни посетил Александр II, и при встрече с Катковым разрешил ему продолжить свою публицистическую деятельность.

Однако не только власть настороженно смотрела на деятельность «трибуна со Страстного бульвара», но и либеральная часть русского общества. Ему не могли простить яростных обличений нигилизма – «исчадия этой интеллигенции»: «Никогда, нигде умственный разврат не доходил до такого безобразия, как в некоторых явлениях русского происхождения»; «Быть либеральным значит у нас отречься от своего народа, ставить его во всём на последнее место, считать всё слишком для него хорошим и его силами питать чужие и фальшивые существования».

Находил время Катков и для проблем развития образования. Он выступил горячим сторонником усиления «классицистского направления» в средних учебных заведениях. С этой целью в январе 1868 г. в Москве был открыт лицей, названный николаевским в память скоропостижно умершего наследника престола Николая Александровича, но быстро получивший наименование «Катковского лицея». Осенью 1872 г. при лицее было учреждено отделение для бесплатного обучения и содержания «способных мальчиков из народа».

Вышло так, что в истории культуры Катков-публицист, Катков-трибун потеснил Каткова-переводчика. Это понятно, но несправедливо. Хотя бы потому, что переводил Катков немало. Ещё в студенческие годы он участвовал в переводе с французского книги Демишеля «История средних веков». В 1838 г. в «Сыне Отечества» был напечатан первый акт трагедии Шекспира «Ромео и Юлия» в переводе Каткова, но против желания переводчика. Белинский высоко оценил этот перевод. В «Московском Наблюдателе» появляется катковский перевод (с предисловием переводчика) статьи Ретшера «О философской критике художественного произведения». Среди авторов, чьи произведения переводил Катков – Ф. Купер (история этого перевода уже рассказывалась в «Мостах»¹), Ф. Фрейлигарт, Г. Гейне. Писатель И.И. Панаев пишет в воспоминаниях: «Когда я вспоминаю о Каткове, он до сих пор почему-то представляется мне не иначе, как с несколько прищуренными глазками, с сложенными на груди руками, декламирующий <...> свой прекрасный перевод гейневского «Французского гренадера»:

Какое мне дело? Пускай поджидают...

Бросаю детей и жену.

Голодную смертью пускай умирают:

В плену император! в плену!».

Поводом для статьи Каткова, которую мы публикуем ниже (впервые она была напечатана в 1854 г. в сборнике статей по классической древности «Пропаицеи», кн. 4) послужила история, обстоятельно описанная К.И. Чуковским в книге «Высокое искусство». В 1849 г. умный, циничный и задиристый писатель и журналист О.И. Сенков-

ский (Барон Брамбеус) напечатал в издаваемом им журнале «Библиотека для чтения» статью «Одиссея» и её переводы». Как пишет Чуковский: «Статья эта, являющаяся умело замаскированным выпадом против переводов Жуковского, высказывает требование, чтобы “Одиссею” переводили не торжественно-витиеватым языком высших классов, а простонародным, крестьянским. Видя в “Одиссее” “простонародные песни”, “уличные краснобайства язычества”, Сенковский выдвинул знаменательный тезис. “Просторечие какого бы то ни было языка, – утверждал он, – может быть переведено только на просторечие другого языка” <...> Он требует, чтобы нимфу Калипсо называли на деревенский манер – *Покрывалихой*, Зевса – *Живбогом* или *Батькой небес*, эфиопов – *Черномазыми*, Аполлона – *Лучестрелом*, Полифема – *Круглоглазником*, Прозерпину – *Проползанной* и т.д. и т.д., – и хочет, чтобы Юпитер восклицал, подобно деревенскому старосте: “Эх, батюшка!” <...> Он даёт такой образец простонародного перевода отрывков из первой песни “Одиссеи”: “Вот, дескать, о чём у меня кручинится нутро, отец наш, Жив Годочислович, высокoderжавейший! Честная нимфа Покрывалиха, которая живёт, как барыня, в резных полированных хоромах, поймала бедняжку Сбегнева... тому домой к жене смерть хочется, а честная Покрывалиха настаивает – будь ей мужем! непременно!”».

Идею Сенковского подхватил молодой учёный, в ту пору адъюнкт Казанского университета по латинской словесности Б.И. Ордынский. Он напечатал в «Отечественных записках» полемический разбор «Одиссеи» в переводе В.А. Жуковского и высказал те же взгляды на подход к переводам Гомера, что и Сенковский. Предложил он и свои варианты перевода, которые также цитирует К.И. Чуковский: «Сказал ему в ответ Ахилл-ноги быстрые: “Атреич преславный, царь людей, Агамемнон! Дары, хочешь, давай... Нечего тут калякать и мешкать”», «И теперь потерпел ты по её же, чай, козням. А всё-таки не допущу, чтобы ты долго выносил эти болести».

Статья Каткова, которую мы предлагаем вашему вниманию – ответ на русификаторские поползновения Сенковского и Ордынского.

А.И. Яковлев, П.Г. Поляков

¹ В.К. Ланчиков. Василий Иванович, именуемый «заказчик» – «Мосты» № 1 (9), 2006.

Наследие

В недавнее время возник у нас вопрос о лучшем и вернейшем способе переводить Гомера на русский язык. Первым поводом к спору послужил Гнедичев перевод «Илиады». Находили, что Гнедич совершенно изменил колорит гомерических песен, что старыми славянскими оборотами и речениями он придал им какую-то торжественность. Жуковский своим переводом «Одиссеи», казалось бы, должен был удовлетворить требованиям критиков, упрекавших Гнедича в недостатке простоты: язык этого перевода есть чистый и изящный язык современной литературы нашей; если в нём иногда и попадались некоторые архаизмы (к сожалению, не совсем удачные), то так редко, что они почти исчезают в целом переводе. Оказалось, что и в переводе Жуковского недостаточно простоты. Возникла мысль, что Гомера следует переводить на простонародный русский язык, на язык сказок и песен. Прочь всякая торжественность, всякая высокопарность (так восклицали нововводители)! В гомерических песнях высказывался народ в своём младенчестве; слово такого народа просто, бесхитростно, наивно и по-русски оно должно быть передаваемо таким же младенческим и наивным словом; для вернейшей передачи Гомера всего лучше может послужить Кириша Данилов. Публика слушала эти рассуждения, может быть, не совсем без одобрения. В ежедневном говоре людей чего не высказывается, чего нельзя высказать, как нечто весьма понятное, весьма разумное и заслуживающее одобрения? Но вот вместо рассуждений являются опыты, вместо слов — дело, и каждый тотчас же чувствует его несостоятельность. Вот почему надобно желать, чтобы всякая теория или ссылалась на сделанное дело, или завершалась делом: пока она остаётся на одних словах, верность или неверность её понятна только немногим, и не прежде как перешедши в дело, она изобличает себя для всех.

Не имея в виду разбирать сделанные у нас попытки переводить Гомера простона-

родным языком, мы ограничимся одними общими замечаниями о ложности воззрения, из которого они проистекли.

Само собою разумеется, что перевод должен прежде всего быть верен подлиннику: без этого условия он теряет всякое значение. Как бы плох ни был перевод, трудно предположить, чтобы в нём не сохранилось по крайней мере общее содержание подлинника; в переводе истинно изящном передаются, по возможности, все частности и особенности, весь характер и тон произведения.

Но подобные общие положения не ведут ни к чему. От частого употребления они так выдыхаются, что мы и слушаем, и высказываем их совершенно без всякой мысли, как передаём и принимаем истёртую монету, не распознавая на ней никакого клейма. А потому, чтобы не говорить понапрасну, лучше всего прибегнуть к анализу и пуститься в дробности. Вместо целого произведения возьмём простые речения языка. Как понятие слово имеет двоякую сторону: общую, родовую, и частную, видовую; наконец, оно имеет даже индивидуальное, чисто особенное значение. Общую сторону речений схватить легко; но их видовые отличия доступны только для человека, вполне владеющего языком. Передавая общее значение слова, вы ещё не касаетесь его частного значения; но, передавая данное значение другим значением, ставя *b* вместо *a* и *c* вместо *b*, вы делаете хуже, чем если б ничего не делали, вы вводите других в заблуждение, вы не переводите, а сочиняете.

Вот, например, несколько речений: *дева, девица, девка, девушка*. Эти четыре речения, с общей своей стороны и по этимологии, суть почти одно слово; но каждое из них имеет в употреблении свою особенность, отличающую его от других. Если нужно высказать только общее значение, выражаемое этими четырьмя словами, то вы можете употребить из них любое, и мы не будем в претензии на иностранца, плохо знающего по-русски, который некстати употребит одно из них для того, чтоб пере-

дать нам как-нибудь свою мысль. Но если вам предстоит сказать именно то, что выражается каждым предложением в особенности, то вы скажете совсем не то, что хотите сказать, употребив одно слово вместо другого.

Что мы видим при сравнении отдельных слов одного и того же языка, то оказывается и при сравнении слов двух различных языков. Попробуйте передать в какой-либо данной связи слов, например, французское предложение *дама* русским *баба*: вы сами рассмеётесь вашему переводу, и, однако, оба эти слова совпадают в одном общем значении. В случае затруднения поставьте лучше в вашем переводе такое слово, которое именно выражает это общее значение; вы ещё не испортите переводимого места, если употребите, например, предложение *женщина* вместо более специального французского *dame*; но вы совершенно исказите смысл, употребив другое специальное предложение. Вы копируете картину: ограничьтесь же простыми очерками или употребите те самые краски, какие представляет подлинник. Если нельзя перевести ворону сорокой или осину берёзой, то так же нельзя при переводе с одного языка на другой употребить совершенно чуждое подлиннику специальное предложение. Ведь вы не назовёте фрака зипуном; так равно и при переводе с иностранного языка не можете, не впадая в нелепость, передать слово *фрак* словом *зипун*. В сущности, всё равно что назвать вещь не её именем или что употребить одно определённое слово вместо другого, также определённого. Вы не знаете, как специально называется это дерево? Назовите его просто деревом: вы скажете мало, но зато не впадёте в ошибку, в какую впади бы, если б осину назвали берёзой.

Положим, что нам предстоит передать с одного языка на другой целое поэтическое произведение. О чём прежде всего должны мы заботиться? Конечно, о том, чтобы это произведение в предложениях и формах чуждого языка оставалось тем же самым, чем было в предложениях и формах родного языка. Отдельные промахи, неизбежные во всяком об-

ширном труде, ещё не испортят дело, если их не слишком много, и они всегда могут быть исправлены. Но что выйдет из нашего перевода, если мы, удержав содержание поэмы, дадим совсем иной характер, иной цвет её форме? Не изменим ли мы её духа, который определяется взаимным отношением содержания и формы? Не лучше ли уж вовсе отказаться от намерения перевести? Изменяя форму, искажая дух произведения, зачем ещё будем мы сохранять его содержание? Будемте же искажать и самое содержание, будем переделывать, пародировать всё произведение, выворачивать его наизнанку. «Энеида», переименованная на малороссийском наречии Котляревским, есть забавная шутка, имеющая смысл, не лишённая, может быть, своего рода достоинства; но *перевод* «Энеиды» или «Илиады», искажающий совершенно и характер и дух произведения, есть дело бессмысленное.

Вы хотите переводить Гомера на русский язык? В добрый час!.. Но вы рассуждаете так: гомерические песни суть песни народные, простые, а потому и по-русски следует передавать их языком народным и простым. Начав рассуждать, не хватйтесь же тотчас за дело, а продолжайте рассуждать до конца, — и посмотрите, что выйдет. Простота! Но что такое простота? Есть много простых вещей, как есть много, например, белых вещей: и снег бел, и полотно бело, и бумага бела, и мало ли что ещё бело! Но благодаря белизне вы не будете же смешивать совершенно разнородных вещей. Народность! Но разве древнегреческая народность и ныне благополучно живающая русская народность — одно и то же? Пётр есть человек, и Иван есть человек: следует ли, что Пётр и Иван — один и тот же человек? Греческая народность сама по себе, а русская народность — сама по себе, и смешать их ещё нелепее, чем смешать Петра с Иваном.

Рассуждая таким образом, вы усомнитесь в своём начинании и не будете перелагать греческую народность на русскую. Уж лучше покажите нам Гомера в каком-ни-

Наследие

будь неопределённом костюме, нежели в кафтане удалого русского ямщика; пусть уж лучше старый рапсод будет представляться нам неясно, в тумане, чем жалким образом кривляться перед нами и корчить нашего приятеля казака Киршу Данилова. Пусть уж лучше он вовсе нам не показывается, да лишь не показывается в таком виде.

Но подойдём ещё ближе к делу. В живом языке при всём единстве его есть множество разнообразных элементов. При малейшем ослаблении единства начатки разнообразия задвигнутся, заходят, завяжутся в новые узлы, и того гляди, что из одного языка выйдут многие языки, которые могут так разойтись, что и память потеряют о прежнем единстве. Но пока народ имеет одну общую литературу, единство языка его как бы застраховано, и чем полнее, богаче, могущественнее развивается его литература, чем более выражается в ней его жизнь и производительность, тем дороже становится единство языка, тем менее грозит ему опасность исчезнуть в новых языках. Литературный язык, принявший в себя все стихии жизни народа, образованный всеми впечатлениями его духовной производительности, есть самое лучшее выражение народности. Если рядом с литературным языком остаются ещё различные не вошедшие в него речения и обороты, ещё другие языки, то они по отношению к нему получают особый характер, какого бы не могли иметь, если б в народе не образовался язык литературный. Сюда, во-первых, принадлежат местные наречия, во-вторых, особенности выражения некоторых сословий, некоторых классов общества, почему-либо остающихся чуждыми образованию и его языку. Слова и склад речи, принадлежащие исключительно какой-либо местности или общественному разряду, получают специальное значение, именно значение той среды, в которой употребляются. При существовании литературного языка формы речи, почему-либо ещё не вошедшие в него, не могут быть употребляемы для выражения общего понятия или для перевода с чужого

языка, не могут, потому что за ними как тень следит их местное значение; они означают столько же какое-либо общее понятие, сколько ту или другую местность, тот или другой круг людей, то или другое общественное положение. Выше сказали мы, что речения языка, служащие для означения понятий, имеют ещё свою индивидуальность. Не худо заметить этот пункт. В самом деле, за логическою стороною слов часто забывается слово как нечто индивидуальное, как исторический факт. Будучи означением понятия, оно есть в то же время нечто само по себе. Мало знать его логическое значение, следует обращать внимание также на его положение, его судьбу, его употребление. Мы сказали *положение*, и сказали не для фигуры: слова, подобно людям, или, лучше, вместе с людьми, могут нередко иметь своё особенное общественное положение. Только литературный язык представляет среду, свободную от таких особенностей: в нём, как и вообще в образовании, общественные различия исчезают. По своей природе иная форма речи могла бы годиться для литературного употребления, но пока на ней остаётся отпечаток какого-либо исключительного употребления, вы не решитесь вставить его в вашу речь для выражения вашей собственной мысли или для перевода с чужеземного языка. Вот, например, слова *жисть*, *болезь*: как выражения известных понятий, они ничем не хуже слов *жизнь*, *болезнь*; этимологический состав их правилен; он образован совершенно сходственно с речениями *честь*, *весть* и т. п.; но судьба исключила их из литературного употребления в пользу других форм, и слово *жисть* может быть употреблено в литературе не просто для выражения общего понятия, им означаемого, но с целью означить известное общественное положение, известный класс именно русского общества, с целию вывести на сцену русского простолюдина. Слово *жисть*, сопоставленное с словом *жизнь*, имеет особый оттенок, и такой оттенок будет всегдашнею преградой для употребле-

ния этого слова в смысле более общем или для перевода с иностранного языка. Заставьте француза, например, хоть при переводе романа Жоржа Санда, сказать такую фразу: *жисть моя постылая, головушка моя победная*, и выйдет предикая нелепость. Мы с умыслом привели пример, в котором, как в увеличительное стекло, нелепость представляется в самом разительном виде.

Но, могут заметить, литературный язык не должен же вовсе чуждаться языка народного. Совершенно справедливо, и скажем более, литературный язык должен по преимуществу быть языком народным, иначе он будет мёртвым языком. Между книжною речью и живым словом народа не должно быть никакой преграды. Литература должна питаться всеми притоками речи своего народа. Всякая форма народной речи может быть принята в неё, но с толком, с художественным тактом и, главное, не без нужды. Литературе принадлежит в языке всё, за исключением лишь того, что раз навсегда исключено из неё. Откуда же такое исключение? В силу чего какое-либо слово должно считаться исключённым из литературного употребления? В силу другого слова, по значению с ним совершенно тождественного. Того нельзя принять, место чего уже занято. Слова *суводь, заводь, днище* и т. п. могут быть употреблены где угодно, если означают определённые понятия, и, употреблённые с знанием дела, они украсят вашу речь своею выразительностью, служа к точнейшему, ближайшему, живейшему означению предмета. Но напрасно будет толкаться в литературу форма *серчать*: место её занято слово *сердиться*, как слово *жисть* предупреждено формою *жизнь*. Во всяком случае, *осерчать* может быть ещё прилично каким-нибудь Диомиду Тидеевичу или Сергеевичу, а уж никак не воителю ахейскому, знаменитому Тидиду, воспетому Гомером. Правда, есть различные формы одного и того же предложения, одинаково допущенные в образованный язык; но всегда с каждою из таких форм соединяется какое-либо особое значение. Так, на-

пример, слова *ровный* и *равный*, будучи двумя различными формами одного и того же слова, приняты в употреблении различные значения и занимают каждое своё место, не вытесняя друг друга.

После этой оговорки обратимся прямо к главному возражению, которое может быть нам сделано. Выше указали мы нелепость, какая бы могла произойти, если бы мы при переводе с иностранного языка стали употреблять формы речи исключительно простонародные или исключительно свойственные какому-нибудь сословию или общественному положению в нашем быту. Чтоб подобная нелепость бросилась резче в глаза, мы предположим, что переводим с французского языка какое-нибудь чисто литературное произведение. Нам возразят, что мы сбились с дороги, что дело идёт не о переводе литературных произведений, но о произведении по преимуществу народном, как гомерический эпос. Песни Гомера возникли не в искусственной литературе, но на вольном просторе народной жизни; именно совершенною безыскусственностью отличаются эти песни, они чужды всяких предустановленных правил, и переводить их на книжный язык значило бы придавать им несвойственный характер: только язык природный, также безыскусственный и не знающий книжных правил, может служить для этой цели. Переводя поэтическое произведение на наш язык, мы должны преимущественно стараться о том, чтобы оно производило на читателя такое же впечатление в переводе, какое производит в подлиннике; требуется, чтобы, например, «Илиада» представлялась русскому приблизительно с таким же характером, как она должна была представляться древнему греку. Древний грек слышал в ней простое, безыскусственное слово — слово чисто народное; следовательно, и нам, на языке русском, должно слышаться в них народное слово.

Но уже выше было замечено, что одна народность не может заменить другую, и

Наследие

мы никак не избегнем нелепости, если вздумаем в русском переводе подражать народному эффекту, какой будто бы производили гомерические песни на древнего грека. С целью показать, что может произойти из подобного стремления, возьмём прежде всего следующий пример. В комедиях Аристофана, писанных на аттическом наречии, спартанцы, являясь на сцену, говорят своим местным наречием; без сомнения, это должно было производить особый эффект на афинской сцене; но что бы вышло, если бы мы, передавая Аристофана, вздумали произвести соответственный эффект на русскую публику, употребив для этой цели какое-нибудь местное русское наречие, например костромское или, ещё разительнее, малороссийское? Один из новейших немецких переводчиков Аристофана действительно прибег к подобному средству и перевёл речь спартанцев одним из областных наречий Германии. Не нужно доказывать, как должна быть неудачна эта попытка.

И однако, скажем мы, попытка подражать в переводе эффекту местных наречий далеко не так нелепа, как мысль передавать Гомера простонародным русским языком. Там по крайней мере есть какое-нибудь основание, находящееся в самом подлиннике; на афинскую публику действительно должен был производить особое впечатление язык спартанцев на сцене, и хотя малоросс вовсе не спартанец, а мы не афиняне, однако попытка наша передать эффект спартанского наречия эффектом малороссийского, при всей нелепости результата, вытекала бы из основания верного; мы испортили бы эффект подлинника, передав этот эффект дурно; во втором же случае мы навязали бы подлиннику то, чего в нём вовсе нет, мы показали бы, что вовсе не поняли подлинника, и старались бы передать эффект, нами самими выдуманный, нами налганный, на подлинник.

Совершенно справедливо, что гомерические песни возникли не в литературе, но

они возникли в такое время, когда не было никакой литературы; правда, что в этих песнях выразилась греческая народность, но народность в такую эпоху своего существования, когда она не являлась противоположностью какому-нибудь другому элементу, народность в своём общем смысле. Песни эти, конечно, не были литературным произведением, но они не были также произведением нелитературным; различие литературного и нелитературного их не касается. Не говоря уже о том, что по своему внутреннему характеру они в своей народности представляют явление всеобщее и всемирное и принадлежат целому человечеству, так что каждый особый народ может видеть в них как бы своё достояние, как бы момент жизни человечества, всем равно принадлежащий; не говоря уже об этом качестве гомерического эпоса, мы обратим внимание лишь на то, что никогда не мог он в подлиннике производить впечатление исключительно народного и ещё менее простонародного слова. *Исключительно народное* есть отъявленная противоположность общечеловеческому, и простонародное возможно только по отношению к системе высшего образования. У нас есть простонародный язык потому, что есть язык литературный. Во времена же гомерические не могло быть таких исключений и различий. Эпос есть источник всей древней греческой поэзии и литературы: к нему древние геллены возводили всё своё образование; с него в лучшее время их образования начиналось воспитание юношей; в нём сходились все ветви греческой народности, часто во всём прочем так разнохарактерные и так враждебные между собою. Самые наречия, на которые распался гелленский язык, соприкасались слитно в гомерическом слове: за ним осталось значение языка эпического, который возвышался над всеми племенными наречиями.

Что такое речь простонародная? Смешивать простонародность с народностью —

большая ошибка. Простонародность есть отсев, *residuum*¹ народности; она возникает с осложнением общественного быта и есть как бы обратная сторона образования и развития. Кто же решится сказать, чтоб в гомерические времена существовала в обществе простонародность и находила себе выражение в языке? Если же в самом гомерическом быте не могло быть элемента простонародности, если ничто там в отношении друг к другу не могло казаться простонародным, то почему же весь этот быт с своим языком будет казаться таким для постороннего наблюдателя? Должен ли предмет казаться кому-нибудь таким, каким он не есть сам в себе?

Ещё несколько слов о простонародном языке. По мере развития образования внутренний инстинкт, закон народного слова переселяется в язык литературный. Силы народа идут на те созидания, к которым призывает его история; народность выражается в исторической деятельности, в проявлениях существенных и важных для целого мира, для человечества. Великие цели знания, искусства и жизни, овладевая деятельностью народа, овладевают мало-помалу, по мере своей зрелости, тайною его слова. Народность восходит на стеньгу цивилизации, и всё, упорно коснеющее за чертою образования, превращается в так называемую простонародность. Напрасно приписывают простонародной речи в этом смысле признак живости, которая будто бы, при всей грубости этой речи, составляет её отличие от книжного слова; напротив, простонародная безграмотная речь внутренне мертва; она плетётся и вяжется без творческой силы, без производительного инстинкта и даже без смысла. Всё то в народе, что отказалось войти в его цивилизацию, тем самым лишилось силы и очарования жизни.

От общих замечаний перейдём к некоторым частностям. Недавно случилось мне

¹ уцелевшее, остаток (лат.).

неподалёку от Москвы, в деревне слышать слово, которое получило полное право гражданства в местной молве многих околдовков. Известно, что из московского Воспитательного дома раздаются поступающие в него безродные дети на воспитание по деревням. Как же, думаете вы, зовутся там эти дети? Вам прежде всего придут на ум слова: воспитанник, питомец. Нет, — *шпитёнок* и *шпитомец*. Чувствуете ли вы всю нелепость этих незаконных речений, чувствуете ли, что они возникли *invita Minerva*², при заглошшем инстинкте языка? Как бы хорошо было употребить их при случае в «Илиаде»!

Наверное, случалось вам слышать между мастеровыми выражение *вожжаться*, например в такой фразе: *мы целой день провожжались за работой?* Я слышал это слово не только от мастеровых, но и от людей, носящих фрак, хорошо говорящих по-французски. Очевидно, что в основе этого дикого выражения находится глагол *возиться*. *Провожжаться* здесь не может означать ничего иного, как *провозиться*. Каким же сцеплением представлений зашли сюда *вожжи*? Очевидно, что им тут нечего делать и что живая производительность языка не могла бы породить такой неорганической формы.

Сознайтесь, что вам самим случалось иногда употреблять выражение *расчесать* в смысле *разбить*, например в фразах, подобных следующей: *неприятеля расчесали*. Очевидно, что *расчесать* в этом смысле не может иметь ничего общего с известным значением глагола *чесать*, и действительно, это не что иное, как искажение слова *тесать* (польск. *ćiasać*), и нелепое *расчесали* значит *растесали*.

Употребляя слово *простонародное* в таком же смысле, в каком оно обыкновенно употребляется, мы, однако, не хотим давать ему тот самый смысл, на который оно указывает своим составом, не хотим

² наперекор Минерве; без поэтического побуждения (лат.).

Наследие

искать простонародное слово как слово, отставшее от жизни, в том классе, какой преимущественно называется простым народом. Крестьянин, оставаясь в завещанных формах как жизни, так и языка, является в выражении обычных ему понятий с типом народности в положительном значении, и в речи его, часто блещущей самородками чистого золота, есть чему поучиться. Но там, где он выходит из обычной сферы, при малейшей перемене в понятиях или когда зашевелится личная мысль, гений языка оставляет его.

Впрочем, мы отделились от нашего предмета. Поспешим возвратиться к нему или, лучше, окончить наши замечания об нём.

Всего сказанного, кажется, слишком достаточно для обличения всей нелепости переводить Гомера на простонародный русский язык. Но теперь могут спросить нас, как же следует переводить «Илиаду» и «Одиссею», какому способу должно отдать преимущество?

На это можно очень просто отвечать в подражание известному изречению, что всякий способ хорош, кроме дурного.

Правда, Гнедичев перевод «Илиады» часто слишком тяжёл и не совсем удовлетворителен; но этому переводу нельзя отказать во многих существенных достоинствах, и если колорит подлинника в нём более или менее изменён, то не испорчен. Мы не совсем согласны с теми, которые ставят Гнедичу в главную вину славянскую примесь в языке его перевода «Илиады». Искусно употреблённые славянизмы не могли бы повредить делу, и иногда, даже нередко, они производят у Гнедича весьма счастливый эффект. Гомерические песни должны были во многом иметь для грека образованной эпохи характер архаический, старинный, отчасти именно такой, какой имеет для нас язык славянский. Эпический

язык, в самой простоте своей, был у греков запечатлён значением священного, как у нас славянский, хотя, конечно, не в одинаковой степени и силе, и очень отличался не только от обыкновенной живой речи, но даже и от литературного языка, как он установился в позднейшее время. Нам даже кажется, что русский переводчик Гомера поступил бы весьма нерасчётливо, если бы не воспользовался богатую сокровищницей славянского языка и не черпал бы из него характеристических красок.

Ещё более может послужить для этой цели изучение старинных, собственно русских, светских памятников нашей письменности, грамот, летописей, юридических актов. Нам кажется, что этот источник народного слова гораздо важнее и плодотворнее, нежели песни, в которых весьма часто оказывается простонародный элемент, или, по крайней мере, элемент исключительной народности, не годящейся для выражения общего содержания или для передачи произведения иной народности. Но переводчик-художник, желающий открыть себе все источники живого слова для воссоздания гомерического эпоса на русском языке, будет, и с большой пользою, прислушиваться к народной речи и изучать всё, в чём выразился гений языка. Истинно живое слово, где бы ни было слышно, в каком бы окружении ни являлось, будет тотчас усвоено художником, — и хотя бы ни разу ещё не было оно употреблено в литературной речи, место ему в ней готово.

Действительно, для перевода гомерического эпоса нужно свежее, оживлённое и сильное слово. Но это не значит, что ему следует быть простонародным. Требование это состоит в том, чтобы за дело взялся истинный художник, способный в одно и то же время проникнуть в дух подлинника и творчески воспроизвести его на своём языке.